

РОССИЯ В
МЕМУАРАХ



Новое
Литературное
Обозрение

ВОСПОМИНАНИЯ
ПЕТЕРБУРГСКОГО
СТАРОЖИЛА

КОЕ-ЧТО ИЗ МОИХ «ВОСПОМИНАНИЙ»
О ПРОСЛАВИВШЕМСЯ ДУЭЛЬЮ
С ПУШКИНЫМ БАРОНЕ
ДАНТЕСЕ-ГЕКЕРНЕ

На этих днях на этих же самых столбцах (№ 268, 269) напечатана была моя же ретроспективная статья «Улан Клерон», в которой я сочувственно вспоминал о фазисах честной жизни и честной службы новому своему отечеству, России, иностранца, достойного доброй о нем памяти русских людей; теперь же здесь, по поводу заметки редакции «Русского архива» (№ 9, на стр. 1829–1830), сделанной к одному эпизоду напечатанной там моей статьи «М.Ю. Лермонтов в рассказах его гвардейских однокашников»¹, я посвящаю мои воспоминания, напротив, такому иноземцу, деятельность которого отразилась пошлостью для него самого и безуспешной скорбью для всей России — смертью, насильственной смертью нашего великого поэта Пушкина.

Передаю здесь теперь — без всяких, впрочем, с моей стороны комментариев — все то, что я лично знаю и помню об этом monsieur Дантесе, имя которого навсегда бы, конечно, без этой роковой дуэли осталось в том мраке неизвестности, которого оно вполне достойно.

Первый раз в жизни узнал я о monsieur Дантесе в конце 1832 года², именно — в доме почтенного генерала А.И. Хатова (переводчика истории войны 1812 года, сочиненной на французском языке Д.П. Бутурлиным), от молодого (в то время) поручика гвардейской конной артиллерии Павла Семеновича Мухина (умер, кажется, в пятидесятых годах, будучи полковником и командиром одной гвардейской конной батареи). Это был очень умный, очень образованный молодой человек и преприятный рассказчик. В числе гостей генерала Хатова в то воскресенье, помнится, были: граф А.Л. Гейден, офицер лейб-гвардии Волынского полка³ (ныне, кажется, здравствующий, но давно находящийся в отставке по болезни) и еще граф Сиверс, очень молоденький семеновский офицер⁴, адъютант тогдашнего начальника штаба гвардии

П.Ф. Веймарна⁵, т.е. чрез то сослуживец сына хозяина дома, молодого лейб-гвардии Гренадерского полка подпоручика Сергея Александровича Хатова.

После обеда в особой далекой отдельной комнате квартиры, которую занимал генерал в доме Главного штаба, над библиотекой Генерального штаба, эти молодые офицеры и я, их одногодок, курили обыкновенно наши пахитосы и трабукосы⁶, так как здесь, да и повсеместно в семейных домах, даже табачный запах, не только дым, считался в те времена *lèse bonne société*⁷. Вот тут-то П.С. Мухин рассказал нам, что он вчера был на *soirée dansante*⁸ известного в ту пору богача, ведшего сильную картежную игру, Василия Васильевича Энгельгардта, дом которого у Казанского моста (ныне дочери его, вдовы г-жи Ольхиной) почти весь был тогда нанимаем под дворянское собрание, как ныне большая его часть нанимаема под купеческое собрание. Вечер Энгельгардта был изящный, как всегда бывали вечера этого блистательного и тароватого амфитриона. На этот раз вечер давался по случаю перехода сына В.В. Энгельгардта, юнкера лейб-гвардии Уланского полка, в лейб-гвардии Гусарский полк, почему здесь преобладал элемент военной молодежи, состоявшей преимущественно из юнкеров кавалерийского отдела гвардейской школы; фраков было очень мало, и в числе их два, только что прибывшие из-за границы, премолоденькие французики, а именно: маркиз де Пина (*de Pinas*) и какой-то Дантес, носящий фамилию, не находящуюся во французском блазоне (гербовнике), по видимому, из французских буржуа⁹. Оба эти французика, как говорил Мухин и подтверждали графы Сиверс и Гейден, были камер-пажами герцогини Беррийской, рекомендовавшей их письменно, в особенности Дантеса, как сына ее преданнейшей камерффрау¹⁰, императору Николаю Павловичу для принятия их в русскую военную службу. Маркиз Пина принят был прапорщиком в молодую гвардию, именно в австрийский полк¹¹. Это был довольно скромный и приличный молодой человек, умевший себя держать с достоинством, без малейшего фатовства. Он довольствовался своими собственными небольшими средствами, отказывался от всякой милостыни, в виде царской субсидии, старался как можно скорее изучить русский язык и русскую грамоту и спустя несколько времени перешел на службу на Кавказ, где, как впоследствии уже говорили в Петербурге, участвовал молодецки в нескольких отчаянных экспедициях и в одной из них нашел честную смерть.

Он принадлежал к старинной французской фамилии и был роялистом до мозга костей, почему считал службу а l'autocrate de toutes les Russies¹² продолжением своей службы под знаменами легитимизма. С товарищем своим, Дантесом, даже на вечере у Энгельгардта, как заметил тогда Мухин, он, этот маркиз, держал себя холодно и сухо и конфузился, когда тот, со своими залихватскими манерами дурного тона, отмачивал некоторые остроты, напоминавшие все, кроме хорошего общества. К тому же все бывшие на этом энгельгардтовском вечере не могли не заметить, что бывший камер-паж герцогини Беррийской отличался необыкновенной неловкостью и неуклюжестью в танцах. П. С. Мухин уверял тогда нас, что этот Дантес, парень лет двадцати, белобрысый, розовый, немножко сутуловатый с широчайшею спиной и слишком плотный для своих лет.

Спустя несколько дней после этого разговора я в «Русском инвалиде» прочел в приказах о том, что бывший камер-паж двора ее королевского высочества герцогини Беррийской Дантес принимается корнетом в Кавалергардский ее императорского величества полк. Вскоре после этого, ужиная вместе с несколькими знакомыми мне молодыми людьми в дворянском собрании, во время какого-то масленичного маскарада, я уже видел этого самого Дантеса с несколькими кавалергардами, между которыми рельефнее всего проявлялся известный тогдашний самодур «Савка» Яковлев, сын знаменитого богача, Алексея Ивановича Яковлева, соперничавшего с Демидовыми своими железными заводами в Сибири¹³. Вся эта шумная компания ужинала за отдельным далеким столом в обществе нескольких французских второстепенных актрис и танцовщиц, снявших маски и хохотавших до упада, особенно тем очень не салонным остротам, какие сыпал крайне белокурый молоденький корнет, оказавшийся именно Дантесом. За другим столом, помещавшимся рядом с тем, за которым сидел я с приятелями, было несколько офицеров постепеннее юной кавалергардской компании, и эти господа, кирасиры, уланы и конногренадеры, довольно громко вели свои речи, из которых невольным образом можно было узнать много курьезного; но здесь всему этому не место, почему, в уважение специальности моего предмета, скажу только, что относительно этого белокурого господина Дантеса соседи наши высказали: «Не хочет учиться говорить по-русски, а командные слова добрые товарищи ему понаписали французскими буквами; отвратительно дурно ездит

верхом, и потому его взводному начальнику, поручику Василию Петровичу Апрелеву (умер полковником), знаменитому толстяку, но езду превосходному, с этим “Дантестишкой” сущая комиссия. А со всем тем счастье-то ему какое: из собственной шкатулки государя назначено ему 5000 рублей ассигнациями в год содержания, дана казенная квартира и подарены с придворной конюшни два коня, парадер и подъездок¹⁴. Просто лафа!»

Года полтора или даже два спустя я однажды недумано, неожиданно попал на один чисто французский вечер людей далеко не аристократического полета. На Невском проспекте против Гостиного двора был дом Рогова, а в доме этом был французский магазинчик всякой всячины мадам Дюливье, моей старинной знакомой, о которой я упоминал в моих воспоминаниях, в «Русском вестнике», как прошлого 1871, так и настоящего года¹⁵. Она была кузиной жены славившегося тогда во всем Петербурге парикмахера Шарля, имевшего свой блестящий магазин в доме Петропавловской церкви. Этот Шарль был громко известен как куафер¹⁶, а с тем вместе, и едва ли не больше, как каламбурист, который, причесывая ежедневно великого князя Михаила Павловича, снабжал его высочество своими каламбурами, изготовляемыми им почти каждый вечер в коллабораторстве двух своих компатриотов¹⁷, актера Верне и кавалергардского офицера Дантеса. И вот, благодаря убеждениям развеселой француженки Дюливье, мне привелось быть на одном весьма оживленном и приятном в своем роде парикмахерском балике, по случаю дня рождения супружницы мосье Шарля. Танцовавшие тут кавалеры были все во фраках; но между этими фрачками проявились-таки двое в мундирах и эполетах, из которых один был путеец, фат, Альфонс де Резимон*, а другой фельдъегерский прапорщик Лефевр, щеголявший своим золотым аксельбантом и своим

* Отец этого фата, прибавлявшего к своей фамилии частицу de без особенного на то права, был в чине генерал-майора и инспектором классов Института путей сообщения. Старик этот, педант, впрочем, далеко не ученый, был во Франции репетитором теологии в какой-то уездной семинарии, а при Бетанкуре был назначен в институт профессором черчения (*dessin linéaire*), о котором он понятия не имел. Ему надели в 1817 году майорские эполеты, а в 1835 году он был уже превосходительным. Жена его была маленькая брюнетка, истая пуассардка¹⁸, не умевшая говорить по-русски, но ее сын, этот самый Alphonse, шутки ради выучил ее всему лексикону наших монгольских ругательных слов, которые она щедро высыпала в Гостином дворе, где ее превосходительство однажды за это знание одной стороны русского языка презрительно поплатилась.

белым перистым султаном на треуголке, которую, ради плюмажа, он таскал под левой мышкой даже в танцах. Оба эти «милитеры»¹⁹, как называли их дамы этого общества, большею частью модистки и мелкотравчатые актриски, несколько раз во время вечера осведомлялись у хозяина дома, monsieur Шарля, почему это их общий приятель Дантес не приехал? Один из ответов Шарля я слышал ясно во время ужина. Ответ этот, сопровождаемый различными парижскими, невозможными в русском переводе каламбурами, остротами и игрою слов, не очень цензурного характера, заключался в том, что Дантеса на днях ни с того ни с сего усыновил голландский барон Гекерн и что теперь этот их общий приятель уже не просто Дантес, а барон Дантес-Гекерн, который, по-видимому, вздумал ломаться и важничать, отзываясь тем, что в этот вечер он давно заарестован вечером графини Воронцовой-Дашковой. Француз-амфитрион кончил тем, что поклялся за эту обиду отомстить бывшему камер-пажу беррийского двора тем, что не будет отныне впредь цитировать великому князю (à monseigneur) Дантесовых каламбуров, так как он только этим одним выигрывал доселе там, где были очень недовольны его фронтовой службой.

Не прошло месяца, помнится, после этого парикмахерского балака, на котором мне привелось быть так нечаянно и, поистине скажу, провести время далеко веселее, чем на балах нашей чиновничьей аристократии, и с тем вместе узнать курьезные подробности о мусье Дантесе, я находился во французском спектакле в Михайловском театре. Во время одного антракта я, оставив свое место, из числа тех, что подешевле, в задних рядах против скамеек, подошел к одной из бенуарных лож, где сидело знакомое мне семейство. В это самое время в ложу, бывшую рядом, в которой кроме одетой по самой последней моде дамы никого не было, вошел белокурый, розовощекий, расфранченный и тщательно завитой кавалергард, который, карикатурно произнося русские слова, нараспев сказал: «З-д-р-а-в-с-т-в-у-й-т-е к-н-я-г-и-н-я!», и эта княгиня — модная картинка тотчас стала ломаться и беззвучно хохотать, кокетливо закрываясь веером; а кавалергард объявил торжественно, уже по-французски и с парижским грассированием, что это единственно все то, что он знает из русского языка, кроме командных слов, и то благодаря серому жако княгини, который выучил его произносить эти два слова. Тогда княгиня-марионетка, опять ломаясь и кобенясь, стала уверять cher baron (любезного барона), что ей, как истой

патриотке, желательно, чтоб он превозмог свою антипатию к русскому языку и заговорил бы по-русски, *ne fut-ce que pour rire* (хоть смеха ради). Барон, этот бывший камер-паж беррийской герцогини, столь известной своими эксцентричными проделочками²⁰, и нынешний поручик первого полка русской гвардейской кавалерии, усыновленный вследствие какой-то грязноватой тайны развратным голландцем, холостым и бездетным, тогда громко на всю залу и во всеуслышание сказал: «*Pourquoi pas? j'aurais appri le russe, si je ne craignais en parlant cette langue de me démettre la machoire*» (Зачем нет, я выучился бы русскому языку, ежели бы не боялся, говоря по-русски, сломать себе челюсть). Княгиня-кукла и некоторые ей подобные, из породы не признающих отчизны аристократок, веселым смехом аплодировали своему милому нововыпеченному барону; но на массу русских зрителей французского спектакля слова эти подействовали неприятно, и в зале послышался неодобрительный ропот, заставивший розового блондина искать убежища за веером княгини, не защитившим, однако, слуха его настолько, чтоб он не услышал слов: «*Fat, polisson, chenapan!*»²¹ и прочих подобных любезностей, громче которых раздался из первого ряда кресел чей-то ясный и сильный голос: «*Monsieur le baron ne paraît pourtant pas avoir peur de se démettre la machoire, en mangeant tous les jours le pain de notre hospitalité russe*» (Господин барон, однако, не обнаруживает боязни сломать свою челюсть, когда ежедневно ест хлеб нашего русского гостеприимства). Публичный этот урок французу-фату был дан русским генерал-лейтенантом, носившим немецкую фамилию, при чисто русском сердце, именно бароном Константином Антоновичем Шлиппенбахом. Занавес взвился, началась новая пьеса, все сели на свои места, и в зале воцарилась тишина. Я, садясь на свое далекое от рампы кресло или, скорее, стул, взглянул на ложу бенуара, где сию минуту была блестящая барыня, за веером которой прятался новый барончик. Ложа была пуста, и только на ее барьере, обитом темно-синим плюсом, лежала афиша, напечатанная на веленовой бумаге. «Ну, голубчик, — подумал я, — сказал бы ты такую нахальность в Лондоне, Вене или Берлине — была бы твоя розовая физиономия изрядно оскорблена градом гнилых яблок!»

Известно, что во время роковой дуэли 27 января 1837 года, когда пуля Дантеса впиалась в грудь нашего бесценного Пушкина, последний, поддерживаемый секундантами, хотел выстрелить в противника

и выстрелил действительно; но ослабевшая рука не могла держать твердо пистолета, а померкшее зрение изменяло при нацеливании, и г. Дантес получил в локоть левой руки такую легкую контузию, залечить которую было легко одним, много двумя компрессами арники. Со всем тем контузия послужила претекстом²² этому «герою» носить левую руку на черной шелковой перевязи во все время своего нахождения на гауптвахте и при явках в военно-судную комиссию, в здании казарм лейб-гвардии Конного полка. На членов комиссии, само собою разумеется, эта повязка ни малейшего эффекта не производила; а за тем, дамы высшего общества, вроде той смешной княгини, серый попугай которой учил monsieur Дантеса по-русски, вменяли себе в обязанность выразить ему свое участие, даже публично. В то самое время, когда всё мало-мальски интеллектуальное и честное народонаселение столицы горько оплакивало родного поэта, проклиная ту блестящую среду, в которую втолкнула его роковая судьба, эти самые дамы в экипажах подъезжали по несколько раз в день к платформе гауптвахты на Сенной, где всегда к ним являлся Дантес в белой фуражке набекрень, в форменном сюртуке на легком меху, имея левую руку на шелковом черном бандульере²³ и жестикулируя правой, причем лицо его смеялось, а из уст летели стереотипные слова: «Dites leurs donc (princesse или comtesse), que je ne demande pas mieux que de verser mon sang au Caucase pour expier la mort de leurs poète» и пр. и пр. (Скажите же им (княгиня или графиня), что я готов пролить мою кровь на Кавказе за смерть их поэта).

Женатый, как известно, за три месяца до дуэли, стараниями Пушкина, на его свояченице, девице Гончаровой, старшей сестре его жены, барон Дантес-Гекерн, высланный из России, блаженствовал в чужих краях, где посещал модные воды карлсбадские, баденские и другие. На одни из этих вод в котором-то из сороковых годов приехал великий князь Михаил Павлович. Дантес всячески старался с ним встретиться и имел mauvais goût²⁴ отдавать его высочеству воинскую честь, карикатуря стойку русского солдата перед генералом. Мне известно из достоверных источников, что его высочеству, как человеку со вкусом и преимущественно с душою, не понравился этот фарс, и он старался избегать встреч с этим искателем приключений, некогда коллабораторствовавшим на фабрике каламбуров бывшего двора его куафера Шарля.

В 1867 году, вскоре по появлении в свете брошюры о дуэли Пушкина²⁵, встретил я на улице, именно в Итальянской, около Пассажа,

старинного моего знакомого, отставного генерал-майора Константина²⁶ Карловича Данзаса, который был лицейским товарищем Пушкина и его секундантом в несчастной дуэли. Мы прошлись с ним несколько раз по Штейнбоковскому пассажиу²⁷, разговаривая об этой самой брошюре. Он заметил мне некоторые ее неточности, поясняя их. При этом я коснулся личности Дантеса, рассказав ему все то, что теперь вы, читатель, прочли. Данзас подтвердил, что, сколько ему известно, все это именно так, а не иначе, да по характеру г-на Дантеса, по-видимому, иначе-то и быть не могло, потому что истинно честный француз не умеет быть двуличным в своей политической жизни. Дантес же был легитимистом в качестве камер-пажа герцогини Беррийской, благодетельствовавшей его, отрекомендовав так горячо императору Николаю Павловичу, под гостеприимным крылом которого он мог сделать такую блестящую карьеру. И чем же заплатил он старшей бурбонской линии? Тем, что в начале пятидесятых годов сделался бонапартистом, т.е. пристал к правительству и двору, жестоко враждебным поборникам белой лилии²⁸. Известно, что этот барон Гекерн был камергером при дворе Наполеона III²⁹. «Что же касается, — сказал покойный Константин Карлович, — до выраженного в 1837 году Дантесом желания, шутки ради и положительно лишь для красивого позированья, а не для чего иного прочего, проливать кровь свою на Кавказе, то, ежели бы желание это было искреннее, а не пошлые слова, пущенные им на ветер, конечно, он из чужих краев, чрез Австрию, мог приехать в Одессу и явиться на Кавказе, где волонтеров в ту пору принимали беспрепятственно».